

порчено, и я более не стал подходить к цветам.

Вот одно, другое, третье, десятое, пятнадцатое решетчатое окно... а вот опять первое... только и было разнообразия в этом двореке. Раз или два залетел воробей, и это было событие.

И я ходил и обыкновенно глаз не спускал с золоченого шпица Петропавловского собора. Он один менялся изо дня в день, то горя ярким золотом под лучами солнца, то скрывая свой блеск под дымчатою пеленою серого легкого тумана, то хмурясь, когда темные свинцовые облака ползли в зимнюю пору над Невой, и шпиц темнел, поднимаясь в небо стальной иглой.

«Эдак и счет дням потеряешь», - говорил я себе и с первого же дня сделал себе календарь.

У меня были две пары очков, одни для письма, другие для улицы, и одна пара была в кожаном футляре, разграфленном квадратными линиями на ромбики. Я сосчитал: их было на обеих сторонах более сотни. Каждый мог сойти за неделю, и, ложась спать, я ножом выдавливал каждый день палочку поперек ромба. Я знал, таким образом, день недели и число.

Большие праздники мне напоминала пушечная пальба, начинавшаяся из пушек нашего бастиона. Один раз началась пальба не в назначенный день и час. Я с трепетом прислушивался - не будет ли сто один выстрел, может быть, царь умер. Но оказалось всего тридцать один выстрел: значит, в царской семье прибавился новорожденный.

Раз тоже, ветер страшно выл на крыше и в щели окон, и раздался пушечный выстрел. Стало быть, наводнение, и воображение рисовало, конечно, известную картину, изображающую княжну Тарakanову, на которую взбираются крысы из заливаемого каземата.

Пришла зима, и пришли тяжелые, темные, сумрачные дни Каземат топили так жарко, что я задыхался. Иногда он наполнялся угаром... Я звонил, просил открыть вьюшку, но это делали неохотно, и трудно было этого добиться.

По вечерам в каземате бывало жарко, как в натопленной бане, и также чувствовалось, что воздух полон парами. Я просил, настаивал, чтобы не топили так жарко, и, как только заслышу, что закрывают трубу, упрашиваю, требую, чтобы не закрывали.

Сыро у вас будет, очень сыро, - предупреждал полковник, но я предпочитал сырость этой жаркой натопленной и угарной атмосфере и добился, чтобы печь не закрывали так рано.

Тогда наружная стена стала становиться совсем мокрою. На обоях показалась сырость, что дальше, то больше, и наконец желтые полосатые обои стали совсем мокрые, точно на них каждый день выливали кувшины воды. Но выбора не было, и я предпочитал эту сырость жару, от которой у меня разбалчивалась голова.

Зато ночью я сильно страдал от ревматизма. Ночью вдруг температура в каземате сразу понижалась. По полу шел ток холодного воздуха, и сразу сырость в каземате становилась, как в погребе. Как бы жарко ни было натоплено, ток холодного воздуха шел по коридору, врвался в каземат, пары сгущались. И у меня начинали жестоко ныть колени. Одежда была легкая, но и никакие одеяла бы не помогли: все пропитывалось сыростью, - борода, простыни, - и начиналась «зубная боль» в костях. Еще в Сибири, раз, возвращаясь осенью вверх по Амуру, на пароходе, на узенькой койке, и не имея запасной одежды, чтобы отгородиться от железной наружной стенки парохода, я нажил ревматизм в правом колене. Теперь в крепостной сырости колени отчаянно ныли.

Я спрашивал смотрителя, откуда этот внезапный холод, и он обещался зайти ночью - и зашел раз ночью совершенно пьяный. Впоследствии, в Николаевском госпитале, караульные солдаты говорили мне, что смотритель с ними пьянствовал и по ночам по-фельдфебельски. Вероятно, караульные и выходили проветриться, и оттого по коридору несло холодным воздухом.

Единственная человеческая речь, которую я слышал, была по утрам, когда смотритель заходил ко мне.

- Здравствуйте. Не нужно ли чего купить?

- Да, пожалуйста, четверть фунта табаку и сотню гильз.

- Больше ничего?

- Нет, ничего.

Только и было разговора. Я сам набивал папиросы «Все-таки занятие», посоветовал смотритель с первого же дня.

Я продолжал бегать свои семь верст по каземату, делал свои двадцать минут гимнастики, но зима брала свое. Становилось все темнее и темнее: иногда, когда небо было сумрачное, и в два часа ничего не было видно, а в десять часов утра в каземате бывало еще совсем темно.

Мрачно становилось на душе в эти темные дни; а когда показывалось солнце, оно и не доходи-